



ШАПКА ГОППОКРАТА

Зеленая пирамида с красным крестом казалась барабаном. Дождь монотонно стучал по ее туго натянутому брезенту. Эту нудную музыку часто заглушал рев снарядов. Уже несколько дней шел тяжелый бой на Одере.

В полевую операционную внесли очередного раненого. Хирург Яков Юрьевич Литвинский взял у санитаря «медицинскую карточку переднего края» и, всматриваясь в нее усталыми воспаленными глазами, читал про себя: «Вдавленный оскольчатый перелом правой теменной области».

— Надя, — тихим безразличным голосом обратился Яков Юрьевич к операционной сестре, — давай, трепанация черепа.

— Яков Юрьевич, вы же едва стоите на ногах.

— А у тебя что? Есть другое предложение? Ты вон тоже еле стоишь...

— Я-то выдержу, мне легче. Я уже давно стала автоматом.

Яков Юрьевич мыл руки в эмалированном тазике, энергично массируя длинные пальцы в теплой воде. Иногда он смотрел на свое лицо в маленьком зеркале. Лицо небритое, осунувшееся и от этого его большие карие глаза, казалось, стали еще больше.

«Я тоже стал автоматом, — думал Яков Юрьевич. — Война кончается, и чем ближе конец, тем чаще я жалею, что не вел никаких записей. Не фиксировал операции...»

— Салфетку!

«...Каждый раз думал, а зачем это? Если выживу, и так все запомню. Такое не забудется никогда. Теперь вижу, что забываю. Четыре года...».

— Спирт! Салфетку!

Яков Юрьевич и Надя оперировали уже вторые сутки подряд. Они работали без отдыха, перекидываясь несколькими словами только в коротком промежутке между операциями.

Раз у хирургов применимо слово «почерк», значит, ни один из них не похож на своего коллегу. По-разному проявляются

у них и привычки во время или, вернее, в ходе операции. Одни нудно поют под нос на единственной ноте, другие — ни с того ни с сего бранятся, третьи — посвистывают. Яков Юрьевич оперировал молча. Он всегда думал. Иногда, зацепившись за какую-нибудь мысль и развивая, он проносил ее через всю операцию. Если бы не быстро и ловко работающие руки, то можно было подумать, что это не живой человек, а манекен. Низко нагнувшись из-за своего высокого роста, он до последнего шва оставался в неизменной позе. Ни одного лишнего движения.

Все сильнее и сильнее стучал дождь по брезенту пирамиды с красным крестом. После каждого сильного взрыва, раздававшегося недалеко, Яков Юрьевич невольно поднимал голову. Электродвигжок вышел из строя, и под куполом пирамиды-палатки на обыкновенной проволоке висела обыкновенная гильза, покрытая сажей. Она служила светильником.

«А я уже забыл, какой свет идет от настоящей бестеневой лампы, — подумал Яков Юрьевич. — И как я привык к этой гильзе! Кто-то же придумал первый и, наверное, патента не потребовал. Скоро брошу ее. Дело идет к этому. Нет, возьму с собой. Надраю и пусть всегда будет висеть рядом с настоящей бестеневой лампой. А вдруг на земле не осталось ни одной бестеневой лампы? Четыре года вижу только развалины. Медики входят в город после боев».

— Шприц. Новокаин!

«Интересно, сколько прошло новокаина через иголочный просвет. Вот уж где вместо «воды» можно сказать «сколько новокаина утекло с тех пор». И все-таки напрасно я ничего не регистрирую. Я слышал, многие хирурги записывают все. Когда они успевают? И потом, кому все это надо? Автомат есть автомат. Правильно заметила Надя. Мысль притупилась. Единственная надежда на руки. Пальцы — прямо молодцы. Наверное, из меня неплохой музыкант бы получился».

— Иглу, потолще!

«Говорят, лейб-медик Наполеона Ларрей за одни сутки произвел двести ампутаций. Врут историки. Если бы сутки были длиною в трое суток, и то, наверное, нельзя столько резать одному человеку. Летописец, не проверивши, записал, и все подхватили. Смешно было в университете: каждый профессор считал своим долгом называть эту цифру, тут же высказывая свои сомнения. И так из года в год...»

— Новокаин! Иглу!

«Двести ампутаций невозможно. Скальпель — не топор...»
— Скальпель!

«Иногда думаю, уж лучше бы топор. Я не убил ни одного фашиста. Зато сколько фашистского железа вытащил из наших ребят. Вон гильза светит, и та — фашистская. Наверное, сначала убила кого-нибудь...»

— Шарики!

«Черт его знает, есть ли вообще смысл в моей работе? Может, лучше и мне убивать. Я не Ларрей. Я не делаю двести ампутаций в день. Я, как все смертные хирурги, делаю трепанацию черепа не меньше часа. Час кропотливой работы, чтобы спасти одного человека, да и то без полной гарантии на благоприятный прогноз. А там, на другом берегу Одера, за минуту убивают сотни людей. Зачем все это? Уж лучше бы топор...»

— Зажим!

«Убийцу надо убивать до того, как он дает работу хирургу. Я бы это сделал сам. Тогда моя работа была бы ценнее. Наполеон тысячами убивал чужих людей, а своего медика возносил только за то, что тот за одни сутки из двухсот потенциальных трупов делал двести одноногих соотечественников».

— Шарики!

«И тот и другой, и Наполеон и Ларрей, вошли в историю. А из двухсот одноногих — никто. Они превратились в абстрактную цифру...»

— Зажим! Шарик!

«Интересно, где бы я сейчас был, если бы мне во Львове не предложили советское подданство? До сих пор о моих родных мне ничего не известно. Они остались там. Говорят, убито уже несколько миллионов евреев. А в сорочке, я знаю, никто не родился. Скорее бы конец. Я сам поеду и все узнаю сам. А пока надо оперировать, оперировать...»

— Зажим!

«Весь этот kaleidoscope ранений и раневых каналов нужно описать. Что ни день, то новая модификация операций. А зачем это надо? Кому? Неужели эта война не последняя?»

— Распатор!

«Наверное, так думали после каждой войны. Так люди думали около шестнадцати тысяч раз, ибо именно столько было войн за всю историю человечества. И не нужен мне никакой многотомник. Только без новых раневых каналов. Только классическая хирургия. А что это за хирургия такая? Наверное,

мирная, когда есть бестеневая лампа. Скоро скальпель до сердца доберется. Говорят, Бакулев что-то задумал...»

— Кусачки!

Качнулась светящаяся гильза. Яков Юрьевич, прищурюсь, посмотрел на светильник.

«Надо бы проверить глаза. Столько лет работаю при таком свете. Глаза уставать стали. Надя, наверное, права — ей легче. Она уже по моим рукам, по одному взгляду понимает, что нужно. Автомат. И я автомат. Одна только техника. Интуиция и техника. Устрой сейчас мне экзамен по теории, небось, пару схвачу. Названия подзабыл. Латынь подзабыл. В голове только одни раневые каналы... Одна техника и интуиция...»

— Зажим-москит!

«Надя — автомат. Робот. Сколько она блестящего железа подала мне в руки. Сосчитать бы. Тонны, наверное. Одних зажимов иногда по 20–30 штук за операцию. Автомат. А, наверное, она красивая, когда в нормальном, человеческом женском платье. Я ее никогда не видел в платье. Кончится война, купит себе красивое платье, а может, я сам куплю и сходим куда-нибудь. Но куда пойдешь? Все разрушено. Ведь на земле не осталось ни одной бестеневой лампы...»

— Кетгут!

«Кажется, все идет нормально. Выживет. Сколько таких было. Приносят без сознания и уносят без сознания. Они выживают, так и не узнав, кто их спас. Вот встретят где-нибудь меня или Надю, или нас вместе и не поздороваются...»

— Кетгут!

«Лет ему сорок. Дома, наверное, ждут дети, жена. И они не знают и никогда не узнают, что вот уже час мы с Надей, едва держась на ногах, бьемся за жизнь их отца, мужа... А ты хотел бы, чтобы о каждой твоей операции трубили на весь мир?»

— Ножницы!

«Я хочу, чтобы больного готовил к операции сам, чтобы оперировал, выживал и только потом расстался с ним. Четыре года я как на конвейере: “Давай следующего! Давай следующего!” Хочу лечить больных, а не раненых. Хочу бестеневую лампу... Интересно, а что хочет Надя? Наверное, тоже бестеневую лампу, она прищуривается. Как я ненавижу эту гильзу... И все равно я возьму ее с собой. Трофей. Да еще какой, двойной...»

— Кетгут! Ножницы!

«Кажется, все в порядке. Пульс. Дыхание. Будет жить. Наверное, хороший малый. Лоб большой. Поправится. Где-ни-

будь в тыловом госпитале очень скоро, когда все в мире станет тылом, выпьет за победу и свое второе рождение...»

— Ножницы! Шелк!

«И мы с Надей выпьем за победу. Я ей скажу: не жалея спирта, не на руки льешь. Как я хочу, чтобы руки отдохнули. Хочу их мыть в холодной воде и с мылом, а не в теплой и со спиртом. Я хочу выпить и громко разговаривать. Громко смеяться. Я так мало говорю. Все время думаю. Когда думаю о Наде, мне кажется, и она думает обо мне. А может, и нет...»

— Стрептоцид! Турунду!

«Вот бы собрать после войны всех спасенных нами. С дивизию, наверное, будет...»

Дождь все стучал по палатке. Взрывы иногда раздавались так близко и часто, будто зеленая пирамида с красным крестом была выбрана мишенью. Все сильнее качалась гильза-светильник. И, как всегда, Яков Юрьевич каждый раз смотрел под купол, словно стараясь своим взглядом остановить гильзу-маятник.

— Иглу! Шелк!

«Вот и все. Спасли еще одного человека. Сейчас его эвакуируют, и он будет спать в госпитале, на чистых простынях. Небось, соскучился. Проснется, не удивившись тому, что жив, и напишет письмо домой. А мне еще работать. Бой не прекращается. Хватит ли сил? Он проснется и напишет письмо домой. Никогда не читал чужих писем, а тут хотелось бы. Ни одного письма не получал за всю войну...»

— Повязку! Шапку Гиппократата!

«Умная повязка. Молодец Гиппократ. А раненый проснется в госпитале, посмотрит на себя в зеркало и улыбнется. Улыбнется и не подумает, что это не мы, а Гиппократ сделал ему повязку...»

Над палаткой раздался оглушительный взрыв. Свинцовый дождь изрешетил мокрый брезент зеленой пирамиды с красным крестом.

Вдруг Надя резко подалась вперед, судорожно обхватила руками раненого. Она медленно сползла, оставляя на простыне следы крови. Белоснежная «шапка Гиппократата» на раненом вмиг залилась красным цветом.

Красная «шапка Гиппократата». Это последнее, что увидел хирург.